Последний магнат

Автор:
Френсис Фицджеральд

Последний магнат

Фрэнсис Скотт Кэй Фицджеральд

Minibook

«Последний магнат» – неоконченный роман великого Фицджеральда, который жил, отчаянно прожигая дни, и так же творил, ни капли не жалея себя. По легенде, он умер от сердечного приступа прямо за рабочим столом…

Киномагнат Монро Стар, владеющий огромной студией в Голливуде, настоящий баловень судьбы, воплотивший в жизнь американскую мечту. Но стоит ли она утерянного человеческого счастья?..

Нравы золотого века знаменитой кинофабрики и вечная человеческая трагедия одиночества… Прототипом Стара стал реальный продюсер «Metro Goldwyn Mayer» Ирвинг Талберг, в честь которого каждый год вручается премия Оскар «За выдающийся вклад в развитие кинопроизводства». Книга, конечно же, была экранизирована в Голливуде, главную роль исполнил сам Роберт Де Ниро.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Последний магнат

© Сорока О., перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке. Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Глава I

Я выросла в мире кино, хотя ни разу не снималась. На день рождения ко мне, пятилетней, пришел Рудольф Валентино, – так гласят предания. Я упоминаю об этом, только чтобы показать, что с младенческого возраста могла видеть, как вертятся шестеренки Голливуда.

Одно время меня подмывало написать «Записки дочери продюсера», но в восемнадцать лет не очень это у вас выйдет – засесть за мемуары. И хорошо, что не села: получилось бы нуднее, чем позапрошлогодняя колонка Лолли Парсонс. Мой отец на производстве фильмов делал бизнес, как делают бизнес на хлопке и стали, и меня это мало тревожило. Прозу Голливуда я принимала с безропотностью привидения, назначенного обитать в таком-то доме. Я знала, что кинобизнесом надлежит возмущаться, но возмущение упорно не желало приходить.

Легко сказать так, но труднее добиться, чтобы тебя поняли. В Беннингтоне, где я училась, иные из преподавателей литературы притворялись, будто равнодушны к Голливуду и его продукции. А на самом деле – ненавидели, всеми печенками ненавидели кино, как угрозу своему существованию. А еще раньше, в монастырской школе, милая монашенка попросила у меня какой-нибудь киносценарий, чтобы по нему «разобрать с ученицами, как сочиняют фильмы»; как сочиняют эссе и рассказы, она уже разбирала. Я достала ей режиссерский сценарий, и она, должно быть, ломала, ломала себе над ним голову, в классе же ни разу не упомянула о сценарии и вернула мне его обратно с оскорбленно-удивленным видом и без всяких комментариев. Как бы и эту мою повесть не вернул мне так читатель.

Можно принимать Голливуд, как я – спокойно и привычно, – а можно отмахиваться от него с презрением, какое мы приберегаем для того, чего не понимаем. Понимание-то здесь достижимо, но лишь смутное, проблесками. Не наберется и полудюжины людей, кто смог когда-либо вместить в уме всю формулу и тайну фильмотворчества. И разобраться в одном из таких людей – вот для женщины средство поглубже вникнуть в этот сложный мир.

Ту картину мира, которая открывается с самолета, я знала. Отец всегда отправлял нас с сестрой из Лос-Анджелеса по воздуху – в школу, затем в колледж, – и домой на каникулы мы тоже летали. Когда я перешла на второй курс, Элинор умерла, и пришлось уже одной летать, и всегда она в полете вспоминалась, и я как-то серьезнела, грустнела. Иногда в самолете мне встречались знакомые голливудцы, а порой симпатичный студентик, но нечасто – наступили уже годы кризиса. Во время полета мне редко давали уснуть мысли о сестре и это ощущение резкого рывка от побережья к побережью; настоящий сон приходил разве лишь, когда позади оставались уже теннессийские аэропорты – небольшие, стоящие на хмуром отшибе.

На этот раз мы летели в непогоду, самолет так болтало, что одни пассажиры сразу же откинули назад спинку кресла и отошли ко сну, а другие предпочли не спать вовсе. Двое из неспавших были мне соседями – я слева от прохода, они справа, – и по их отрывочному разговору я уверенно заключила, что они голливудцы. Один и выглядел типично – немолодой еврей, он то говорил с нервной горячностью, то умолкал издерганно, весь сжавшись, словно собравшись для прыжка; второй же был бледный, некрасивый, коренастый человек лет тридцати, которого я определенно видела где-то раньше. В гости он приходил к нам, что ли. Но, возможно, я еще маленькой тогда была, – и я не торопилась обижаться, что он не узнал меня.

Стюардесса – высокая, статная, яркая брюнетка, к каким у авиакомпаний слабость, – спросила меня:

– Может, наклонить вам спинку кресла?.. Аспирина не хотите, милая? – Она шатко пристроилась на подлокотник кресла рядом, покачиваясь в такт порывам июньского циклона. – Или нембутала таблетку?

– Нет.

– Не спросила вас раньше, провозилась с остальными пассажирами. – Она села в кресло, пристегнула нас обеих предохранительным ремнем. – А пожевать резинку не хотите?

Это напомнило мне, что пора уже расстаться с резинкой, давным-давно навязшей у меня в зубах. Я завернула ее в страничку журнала, сунула в пепельницу с пружинной крышкой.

– Сразу отличишь воспитанных людей, – одобрила стюардесса. – Всегда прежде завернут в бумажку.

Мы посидели рядом в полутьме покачивающегося салона. Смутно это напоминало фешенебельный ресторан в сумерки, в затишье. Все притихли – и задумчивость была не только в позах. Даже стюардесса как бы призабыла, почему и зачем она здесь.

Она заговорила о молодой знакомой мне актрисе, с которой летела в Калифорнию два года назад. Тогда был самый разгар кризиса, и актриса все смотрела в окно так упорно и сосредоточенно, будто собиралась выброситься. Оказалось, впрочем, что ее не нищета, а только революция страшила. «Я знаю, что мы с мамой сделаем, – сообщила она стюардессе по секрету. – Мы укроемся в Йеллоустонском заповеднике и будем жить там простенько, пока все не утихнет. А тогда вернемся. Не убивают же они артистов?»

Этот замысел меня позабавил. Вообразилась прелестная картинка: бурые медведи – добряки и консерваторы – снабжают медом актрису с мамой, а ласковые оленята приносят им от ланей молоко и, напоив, пасутся около, чтобы с приходом ночи живыми подушками лечь в изголовье. В свою очередь, я рассказала стюардессе про юриста и про режиссера, которые однажды вечером в ту грозовую пору поделились с отцом своими планами. Если армия безработных ветеранов захватит Вашингтон, то у юриста наготове лодка, спрятанная на реке Сакраменто, и он на веслах поплывет в верховья, пробудет там месяц-другой, а потом вернется, «поскольку после революций всегда требуются юристы, чтобы урегулировать правовой аспект».

Режиссер настроен был более пессимистически. Он заранее припас старый костюм, рубашку, башмаки – свои ли собственные или взятые в костюмерной, он умалчивал – и собирался Раствориться в Толпе. Помню, отец возразил: «Но они взглянут на ваши руки! Они тут же поймут, что вы сто лет не занимались физическим трудом. И спросят у вас профсоюзный билет». И помню, как вытянулось у режиссера лицо, как хмуро поедал он свой десерт и как смешно и мелко звучали все их речи.

– Отец ваш не актер, мисс Брейди? – спросила стюардесса. – Фамилия что-то знакомая.

Услышав слово «Брейди», оба моих соседа встрепенулись, взглянули искоса. Я знаю этот голливудский взгляд, бросаемый через плечо. Затем бледный, коренастый отстегнулся и встал в проходе.

– Вы – Сесилия Брейди? – спросил он обвиняюще, как будто я утаивала это от него. – Так я и подумал сразу. Я – Уайли Уайт.

Имя свое он мог бы и не называть – в эту самую минуту чей-то еще голос произнес: «В сторонку, Уайли!» – и кто-то быстро прошел мимо, направляясь в нос самолета. Уайт вздрогнул и – с некоторым опозданием – задорно огрызнулся:

– Приказывает здесь главный пилот.

Это походило на обычный обмен шуточками между голливудским тузом и его валетом.

– Пожалуйста, потише, пассажиры спят, – сделала стюардесса замечание Уайту.

Немолодой спутник Уайта тоже вскочил с кресла и глядел с какой-то откровенной алчностью вслед проходящему – вслед его спине. А тот, не оборачиваясь, махнул на прощание рукой и скрылся куда-то.

Я спросила стюардессу:

– Это прошел младший пилот?

– Нет, – сказала стюардесса, отстегивая ремень – собираясь бросить меня на произвол Уайли Уайта. – Это мистер Смит. У него отдельная кабина, «свадебная», но только он там один. Младший пилот ходит в летной форме. – Она встала. – Пойду узнаю – наверно, в Нашвилле застрянем.

– Застрянем? – ужаснулся Уайт.

– В долине Миссисипи буря.

– И, значит, проторчим там всю ночь?

– Если не стихнет.

Стихать не собиралось – самолет внезапно нырнул, Уайта кинуло в кресло напротив, стюардессу метнуло в сторону кабины экипажа, еврея плюхнуло обратно на сиденье. Нарочито сдержанными восклицаниями, какие подобают опытным воздухоплавателям, мы выразили свое неудовольствие, перевели дух.

– Мисс Брейди – мистер Шварц, – представил Уайт своего спутника. – Кстати, они с вашим отцом – друзья-приятели.

Мистер Шварц закивал с большим жаром, как бы клятвенно и громко заверяя: «Правда. Видит бог, правда».

Пусть когда-то он и мог заявлять так во всеуслышание, но времена переменились, что-то явно с ним стряслось. Вот так, бывает, встретишь знакомого, угодившего в драку или под колеса тяжелого грузовика – и смятого чуть не в лепешку. Таращишь на него глаза, ахаешь: «Что с вами случилось?» А он в ответ бормочет что-то невнятное сквозь обломки зубов и распухшие губы. Он даже рассказать не в состоянии.

Телесных травм мистер Шварц не получил; взбухший персидский нос и затененные подглазья были у него такими же врожденными чертами, как у моего отца ирландски вздернутый кончик носа и краснота вокруг ноздрей.

– Нашвилл! – возмущался Уайли Уайт. – Придется, значит, киснуть в гостинице. А Побережье улыбнулось до завтрашнего вечера – это в лучшем случае. О господи! Я ведь родился в Нашвилле.

– Что ж, вам будет приятна встреча с родными местами.

– Приятна? Я уже пятнадцать лет сюда не езжу. Хоть бы век их не видать.

Но Уайту суждено было увидеть их: самолет явно шел вниз, вниз, вниз, как Алиса в кроличью нору. Пригнувшись к окну, заслонясь ладонью от света, я увидела вдалеке слева город, мреющий белесым пятном. А зеленая надпись «Пристегнуть ремни. Не курить» зажглась уже давно – со времени влета в циклон.

– Слышал фамилию? – взорвалось очередное нервное молчание Шварца.

– Какую фамилию? – спросил Уайт.

– Которой он назвался. «Мистер Смит».

– А что? – спросил Уайт.

– Ничего, – дернулся Шварц. – Просто мне показалось забавно. Смит. Ха-ха. (Безрадостней смеха я в жизни не слышала.) Смит.

Своим расположением на отшибе, своей хмурой тишиной аэропорты сродни, по-моему, одним лишь почтовым станциям эпохи дилижансов. Краснокирпичные наши вокзалы строились потом прямо в городах и городках, и сходили с поездов там только жители тех захолустий. Аэропорты же – словно древние оазисы, стоянки на великих караванных путях. Вид авиапассажиров, которые по одному и по двое проходят не спеша в полночные аэропорты, всегда привлекает кучку зевак. Вплоть до двух часов ночи местная молодежь готова глазеть на самолеты, а кто постарше – на пассажиров. Зорко и недоверчиво оглядывать нас – богачей с Побережья, небрежно сходящих посреди Америки со своего трансконтинентального ковра-самолета. Ведь среди нас могла таиться роскошная романтика в облике кинозвезды. Но большей частью ничего такого не таилось. Как я всегда жалела, что мы не выглядим заманчивей, чем есть; вот так и на премьерах часто жалела – когда киноманы смотрят на тебя с презрительным укором за то, что ты не звезда.

Сходя с самолета, я оперлась на руку, протянутую Уайтом, – и вот мы уже с ним друзья. С этой минуты он принялся ухаживать за мной, и я не возражала. Так или иначе, придется вместе коротать часы нашвилльского ожидания – это мне стало ясно сразу. (Я была уже не та простушка, у которой увели парня тогда – в фермерском новоанглийском домике близ Беннингтона. Девушку звали Рейной, он сел с ней к роялю, и я наконец поняла, что я третья лишняя. В исполнении Гая Ломбардо по радио передавали «В цилиндре» и «Щекой к щеке», и Рейна помогала одолеть мелодию. Звучали клавиши мягко, как падают листья, и ее пальцы поверх его пальцев – она учила его брать «черный» аккорд. Я тогда была на первом курсе.)

Мы вошли в здание аэропорта, и мистер Шварц шел с нами, но как во сне. Мы пытались уточнить у дежурного обстановку, а Шварц все это время стоял, упершись взглядом во входную дверь, словно боялся, что самолет улетит без него. Потом я отлучилась на несколько минут, и что-то без меня произошло; когда я вернулась, вид у Шварца был еще раздавленней, чем раньше. На дверь он уже не глядел. Стоя вплотную к нему, Уайт говорил:

– …ведь предупреждал я – перестань. Поделом же тебе.

– Я только сказал…

Я подошла, Шварц замолчал; я спросила, какие новости. Было половина третьего ночи.

– Новости те, – сказал Уайли Уайт, – что нас промаринуют здесь три часа по меньшей мере, так что слабачье отправляется в гостиницу. А я хочу свозить вас поглядеть «Эрмитаж» – дом Эндрю Джексона.

– Что же мы увидим в темноте? – сурово спросил Шварц.

– Да час-другой, и рассветет уже.

– Вы поезжайте вдвоем, – сказал Шварц.

– Ладно. А ты двигай в гостиницу. Автобус еще не ушел – и в автобусе сидит Он, – поддразнил Уайли. – Может, и столкуетесь.

– Нет, я с вами поеду, – поспешно сказал Шварц.

Мы вышли, разом окунувшись в загородную мглу, сели в такси, и Шварц словно бы повеселел. Похлопал меня поощрительно по коленке.

– Вас оставлять с ним не годится. Я буду вашим провожатым. Было время, был я человеком денежным, и была у меня дочь-красавица.

Он сказал это так, точно дочь забрали кредиторы вместе с другим ценным имуществом.

– Этой нет – другая будет, – утешил Уайли. – Все еще вернется. Новый поворот колеса Фортуны, и ты снова там, где папаша Сесилии. Верно, Сесилия?

– А далеко этот «Эрмитаж»? – помолчав, спросил Шварц. – Где-нибудь у черта на куличках? Как бы нам не опоздать на самолет.

– Да брось, – сказал Уайли. – Зря вот мы стюардессу не взяли тебе для компании. Ты ведь на нее заглядывался. Девчонка и впрямь недурна.

Мы долго ехали по ровной местности, освещенной луной; мелькнет лишь при дороге дерево, хибарка, дерево; затем дорога запетляла лесом. Даже в сумраке чувствовалось, что деревья здесь зеленые – нет у листвы этого пыльно-оливкового калифорнийского оттенка. Путь нам преградили три коровы, негр-пастух отогнал их на обочину, коровы замычали. Настоящие, с теплыми, свежими, шелковистыми боками, и негр плавно обозначился из мглы, тоже настоящий. Уайли дал ему четверть доллара, он сказал: «Спасибо вам, спасибо» – глядя большими карими глазами, и коровы опять замычали в ночь, нам вслед.

Я вспомнила, как впервые в жизни увидела овец, сотни овец, как наша машина внезапно очутилась в их гуще на пустыре за студией старика Лемле. Овцам-то мало радости было сниматься, но наши спутники все повторяли: «Здорово!», «Как и требовалось тебе, Дик!», «Просто здорово!» И тот, кого звали Диком, стоя в позе Кортеса или Бальбоа, озирал из машины серое шерстистое овечье море. Для какого фильма их снимали, я давно забыла (если знала).

Вот уже час мы едем. Проехали через ручей по железному старому дребезжащему мосту с дощатым настилом. Когда мелькает мимо фермерский придорожный домик, там уже поют петухи, колеблются сине-зеленые тени…

– Я говорил вам – рассветет, – сказал Уайли. – Я родился здесь поблизости – сын и наследник оголодалой южной голи. Наш фамильный особняк ныне используют в качестве нужника. Слуг у нас было четверо – отец, мать и две моих сестры. Вступить в их корпорацию я отказался и уехал в Мемфис делать карьеру, и теперь эта карьера уперлась в тупик. – Он обнял меня за плечи: – Сесилия, позвольте жениться на вас и пристроиться к семейному пирогу Брейди.

Комичный тон обезоруживал, и я прислонилась головой к его плечу.

– Чем занимаетесь, Сесилия? В школу ходите?

– Я учусь в Беннингтонском колледже. На третий перешла.

– О, прошу прощения. Мне бы самому догадаться, но я был лишен преимуществ высшего образования. И на третий перешла! Я читал в «Эсквайре» – третьекурсниц нечему уже учить.

– Почему-то люди думают, что студентки…

– Сесилия, не надо оправданий. Знание – сила и власть.

– Сразу видно голливудца, – сказала я. – Как всегда, безнадежно отстали от века.

Уайли сделал вид, что ошарашен.

– То есть как? Неужели в восточных штатах студентки лишены личной жизни?

– В том-то и дело, что как раз наоборот. Вы становитесь несносны, перемените позу.

– Не могу. Еще Шварца разбужу, а он, по-моему, впервые за полмесяца заснул. Что я вам расскажу, Сесилия: у меня как-то была интрижка с женой одного продюсера. Кратенький романчик. Когда он кончился, она предупредила без обиняков: «Попробуй только проболтайся, и я устрою, что тебя вышвырнут из Голливуда. Мой муж – фигура позначительнее тебя».

Он снова обезоружил меня своим тоном, и тут мы повернули в длинную улочку, запахло жимолостью и нарциссами, и такси остановилось перед серой громадой «Эрмитажа». Водитель повернулся к нам, желая что-то объяснить, но Уайли произнес «Ш-ш!», указав на Шварца, и мы тихонько вышли из машины.

– Сейчас не пустят внутрь, – вежливо пояснил водитель.

Мы с Уайли подошли к портику и сели на ступенях у широких колонн.

– Этот мистер Шварц – кто он такой? – спросила я.

– Да ну его. Возглавлял одно время кинофирму – то ли «Ферст нэшенал», то ли «Парамаунт», то ли «Юнайтед артистс». А теперь в глубоком нокауте. Но он еще вернется. В наше лоно нет возврата только алкашам и наркоманам.

– Вам, я вижу, Голливуд не нравится.

– Напротив. Очень даже нравится. Но что за тема для интимной рассветной беседы на ступенях дома Эндрю Джексона.

– А я Голливуд люблю, – не унималась я.

– Отчего же не любить. Золотой прииск в апельсиновом раю. Чья это фраза? Моя! Неплохое местечко для жестких и тертых, но я-то прибыл в Голливуд из Саванны, штат Джорджия. И в день прибытия явился на званый вечер. Хозяин пожал мне руку и ушел от меня. Все было в том саду честь честью: плавательный бассейн, зеленый мох ценой два доллара за дюйм, красивые люди из семейства кошачьих. Они развлекались и пили… А меня не замечали. Ни одна душа. Я заговаривал с пятью или шестью – не отвечают. Так продолжалось час и два, а потом я вскочил со стула и припустил оттуда сумасшедшей рысью. Вернулся в гостиницу, получил из рук портье адресованное мне письмо – и тогда лишь почувствовал, что я снова человек, а не пустота.

Мне самой испытывать подобное, конечно, не приходилось. Но, вспомнив голливудские званые приемы, я подумала, что Уайли не сочиняет. Чужака у нас встречают прохладно, за исключением тех случаев, когда он преуспел уже и сыт и, следовательно, безопасен, – иначе говоря, когда он знаменитость. Но и знаменитость не слишком-то разлетайся к нам.

– Вам бы взглянуть философски, – самодовольно сказала я. – Они ведь не от вас захлопнулись так грубо, а от прежде встреченных нахалов.

– Так юна и хороша – и такие умные речи.

На востоке занималась заря, и я видна была Уайту отчетливо – худощавая, изящная, неплохие черты лица и бьющий ножками младенец-мозг. Вид у меня на рассвете тогда, пять лет назад, был чуточку взъерошенный, наверно, бледноватый; но в юности, когда жива иллюзия, будто у приключений плохого конца не бывает, требовалось лишь принять ванну и переодеться, и снова заряжена надолго.

Во взгляде Уайли было одобрение ценителя, очень для меня лестное. Но тут мистер Шварц вдруг нарушил наше милое уединение, подойдя к дому извиняющейся походкой.

– Клюнул носом – стукнулся о металлическую ручку, – сказал он, потирая уголок глаза.

Уайли вскочил.

– Как раз вовремя, мистер Шварц. Сейчас приступаем к осмотру пенатов, где обитал Эндрю Джексон – десятый президент Америки, Старая Орешина, Новоорлеанский победитель, враг Национального банка, изобретатель Системы Дележа Политической Добычи.

– Вот вам сценарист, – обратился Шварц ко мне, как обвинитель к присяжным. – Знает все и в то же время ничего не знает.

– Это что еще такое? – вознегодовал Уайли.

Так он сценарист, оказывается. И хотя мне сценаристы по душе – спроси у сценариста, у писателя, о чем хочешь, и обычно получишь ответ, – но все же Уайт упал в моих глазах. Писатель – это меньше, чем человеческая особь. Или, если он талантлив, это куча разрозненных особей, несмотря на все их потуги слиться в одну. Сюда же я отношу актеров: они так трогательно стараются не глядеть в зеркала, прямо отворачиваются от зеркал – и ловят свое отражение в никеле шандалов.

– Таковы они все, сценаристы, верно, Сесилия? – продолжал Шварц. – Я не говорун, я практик. Но молча я знаю им цену.

Уайли смотрел на него с медленно растущим возмущением.

– Эта песня мне знакома, – сказал он. – Ты учти, Мэнни, – при любой погоде я практичнее тебя. У нас этакий мистик будет полдня расхаживать по кабинету и пороть чушь, которая везде, кроме нашей Калифорнии, обеспечила бы ему сумасшедший дом. И закруглится на том, что он глубочайше практичен, а я фантазер. И посоветует пойти осмыслить его слова на досуге.

Лицо Шварца опять потухло и опало. Один глаз уставился в небо, за высокие вязы. Шварц поднес руку ко рту, безучастно куснул заусеницу на среднем пальце. Понаблюдал за птицей, кружившей над крышей здания. Птица села на трубу, зловещая, как ворон, и Шварц сказал, не сводя с нее взгляда:

– В дом сейчас не пустят, и пора вам уже обратно в аэропорт.

Рассвело еще не до конца. Огромная коробка «Эрмитажа» белела красиво, но слегка грустно, осиротело – даже теперь, через сто лет. Мы пошли к машине, сели; мистер Шварц неожиданно захлопнул за нами дверцу, и только тут мы поняли, что он не едет.

– Я раздумал лететь – проснулся и решил не лететь. Останусь здесь, шофер потом за мной приедет.

– Вернешься на Восток? – недоуменно спросил Уайли. – И все лишь потому, что…

– Это решено, – сказал Шварц, слабо усмехнувшись. – Я ведь был человек весьма решительный – на удивление прямо. – Таксист включил мотор, Шварц сунул руку в карман. – Эту записку отдадите мистеру Смиту.

– Мне вернуться часа через два? – спросил водитель.

– Да… конечно. Я похожу тут, полюбуюсь.

Всю обратную дорогу в аэропорт я думала о Шварце: он как-то плохо сочетался с сельским утренним ландшафтом. Долгим был у Шварца путь из городского гетто к грубому камню этой усыпальницы. Мэнни Шварц и Эндрю Джексон – несуразно звучат рядом эти имена. Сомневаюсь, знал ли Шварц, бродя у колонн, кто такой

был Эндрю Джексон. Но, возможно, ему думалось, что раз уж дом сохранен как реликвия, то, значит, Эндрю Джексон был человек большого сердца, сострадательный и понимающий. В начале и в конце жизни люди тянутся прильнуть – к материнской груди – к милосердной обители. Где можно приникнуть, прилечь, когда ты никому уже не нужен, и пустить себе пулю в висок.

Понятно, что про пулю мы узнали только через сутки. Вернувшись в аэропорт, мы сообщили дежурному, что Шварц не летит дальше, и на этом поставили точку. Циклон ушел на восток Теннесси и погас там в горах, до взлета осталось меньше часа. Из гостиницы явились заспанные пассажиры; я продремала несколько минут на одной из аэропортовских прокрустовых кушеток. Померкший было от нашей трусливой посадки, возжегся понемногу снова ореол рискованного рейса, – мимо нас бодро прошла с чемоданчиком новая стюардесса, высокая, статная, яркая брюнетка, копия своей предшественницы, только вместо французско-красно-синего платья на ней было льняное, легкое, в голубую полоску. Мы с Уайли сидели, ожидая.

– Отдали мистеру Смиту записку? – спросила я полусонно.

– Да.

– Кто он такой? Это, видимо, он поломал Шварцу планы.

– Шварц сам виноват.

– Не люблю всесокрушающих бульдозеров. Когда отец и дома начинает переть бульдозером, я его осаживаю: «Ты не у себя на студии». (И тут же я подумала, не цепляю ли на отца ярлык. Ранними утрами слова – бесцветнейшие ярлыки.) При всем при том он вбульдозерил меня в Беннингтон, и я ему за это благодарна.

– То-то будет скрежет, когда бульдозер Брейди и бульдозер Смит сшибутся, – сказал Уайли.

– Мистер Смит с отцом – конкуренты?

– Не совсем. Пожалуй, нет. Но будь они конкурентами, я бы знал, на кого ставить.

– На отца?

– Боюсь, что нет.

В такую рань как-то не тянет проявлять семейный патриотизм… У регистрационного столика стоял пилот и качал головой. Они с администратором разглядывали будущего пассажира, который сунул два пятицентовика в музыкальный автомат и пьяно опустился на скамью, хлопая слипающимися глазами. Прогрохотала первая выбранная им песня, «Без возврата», а затем, после короткой паузы, столь же бесповоротно и категорически прозвучала вторая, «Погибшие». Пилот решительно мотнул головой и подошел к пассажиру.

– К сожалению, не сможем взять вас на борт, старина.

– Ч-чего?

Пьяный сел прямей; вид у него был жуткий, но черты проглядывали симпатичные, и мне стало жаль его, несмотря на предельно неудачный выбор музыки.

– Возвращайтесь в гостиницу, проспитесь, а вечером будет другой самолет.

– Другой н-не надо, этот надо.

– На этот нельзя, старина.

От огорчения пьяный свалился со скамьи, а нас, добропорядочных, пригласил на посадку репродуктор, укрепленный над проигрывателем. В проходе самолета я налетела на Монро Стара – чуть не влетела ему в объятия, и я бы не прочь. Любая бы девушка не прочь – все равно, с поощрением Стара или без. В моем случае поощрением и не пахло, но встреча была Стару приятна, и он посидел в кресле напротив, дожидаясь взлета.

– Давайте все вместе потребуем обратно деньги за билеты, – сказал он, проницая меня своими темными глазами.

«А какими эти глаза будут у Стара влюбленного?» – подумалось мне. Они смотрели ласково, но как бы с расстояния и чуть надменно, хотя часто взгляд их бывал мягко-убеждающим. Их ли вина была, что они видят так много?.. Стар умел мгновенно войти в роль «своего парня» и столь же быстро выйти из нее, и, по-моему, в конечном счете определение «свой парень» к нему не подходило. Но он умел помолчать, уйти в тень, послушать. С высоты (хоть роста он был небольшого, но всегда казалось – с высоты) он окидывал взглядом все деловитое многообразие своего мира, как гордый молодой вожак, для которого нет разницы между днем и ночью. Он родился бессонным и отдыхать был не способен, да и не желал.

Мы сидели, непринужденно молча, ведь наше с ним знакомство длилось уже тринадцать лет, с той поры как он стал компаньоном отца, – тогда мне было семь, а Стару двадцать два. Уайли сел уже в свое кресло, и я не знала, нужно ли их знакомить, а Стар вертел перстень на пальце так самоуглубленно, что я чувствовала себя девочкой и невидимкой и не сердилась. Я и раньше никогда не отваживалась ни отвести от Стара взгляд, ни смотреть на него в упор (разве что хотела важное сказать) – и я знаю, он на многих так действовал.

– Этот перстень – ваш, Сесилия.

– Прошу прощения. Я просто так засмотрелась…

– У меня полдюжины таких.

Он протянул мне перстень – вместо камня самородок с выпукло-рельефной буквой S. Я потому и засмотрелась, что массивность перстня была в странном контрасте с пальцами – изящными и тонкими, как все худое тело и как тонкое его лицо с изогнутыми бровями и темными кудрявыми волосами. Порой он казался бестелесным, но он был настоящий боец; человек, знавший его в Бронксе лет двадцать назад, рассказывал, как этот хрупкий паренек идет, бывало, во главе своей мальчишьей ватаги, кидая изредка приказ через плечо.

Стар вложил подарок мне в ладонь, свел мои пальцы в кулак и встал с кресла.

– Пойдем ко мне, – обратился он к Уайту. – До свиданья, Сесилия.

Напоследок я услышала, как Уайли спросил:

– Прочел записку Шварца?

– Нет еще.

Я, должно быть, тугодумка: только тут я сообразила, что Стар – тот самый мистер Смит.

Потом Уайли сказал мне, что было в записке. Нацарапанная при свете фар, она читалась с трудом:

«Дорогой Монро, лучше Вас в Голливуде нет никого, я всегда восхищался Вашим умом, и если уж Вы отворачиваетесь, значит, нечего и рыпаться. Видно, я совсем стал никуда, и я не лечу дальше. Еще раз прошу, берегитесь! Я знаю, что говорю.

Ваш друг

Мэнни».

Стар прочел ее дважды, взялся пальцами за свой шершавый с утра подбородок.

– У Шварца нервы сдали безнадежно, – сказал он. – Тут ничего нельзя сделать – абсолютно ничего. Жаль, что я вчера резко с ним обошелся, но не люблю, когда проситель уверяет, что это ради моего же блага.

– Возможно, так оно и есть, – возразил Уайли.

– Прием это негодный.

– А я бы на него попался, – сказал Уайли. – Я тщеславен, как женщина. Притворись лишь кто-нибудь, что мое благо ему дорого, – и я тут же уши развешу. Люблю, когда дают советы.

Стар покачал головой, морщась. Уайли продолжал его поддразнивать – он был из тех немногих, кому это позволялось.

– Но и Стар клюет на определенный сорт лести, – сказал Уайли. – На «Наполеончика».

– Меня от лести мутит, – сказал Стар. – Но еще сильнее мутит, когда пекутся «о моем же благе».

– Но если не любишь советов, зачем тогда платишь мне?

– Тут вопрос купли-продажи, – сказал Стар. – Я делец. Покупаю продукцию твоего мозга.

– Ты не делец, – сказал Уайли. – Я их знавал, когда работал в рекламном отделе, и я согласен с Чарльзом Фрэнсисом Адамсом.

– В чем именно?

– Он знал их досконально – Гулда, Вандербилта, Карнеги, Астора – и говорил, что ни с единым дельцом его не тянет встретиться в грядущей жизни. А со времен Адамса они не стали лучше, и потому я утверждаю – ты не делец.

– Брюзга был Адамс, надо думать, – сказал Стар. – Не прочь бы и сам стать воротилой, но не было у него деловой сметки или же силы характера.

– Зато был интеллект, – резковато сказал Уайли.

– Интеллект здесь – еще не все. Вы – сценаристы и актеры – выдыхаетесь, сумбурите, и приходится кому-то вмешаться и выправить вас. – Он пожал плечами. – Вас слишком задевает все, вы кидаетесь в ненависть и обожание: люди в ваших глазах всегда так значимы, особенно вы сами. Вы прямо напрашиваетесь на то, чтобы вами помыкали. Я люблю людей и хочу, чтобы меня любили, но я не раскрываюсь, не выворачиваю душу наизнанку… Что я сказал Шварцу там в аэропорту? – спросил он, меняя тему. – Не помнишь в точности?

– Вот точные слова: «Чего бы вы от меня ни добивались, ответ будет один – нет».

Стар молчал.

– Он совсем было сник после этого, – продолжал Уайли, – но я его вышутил, пошпынял, расшевелил немного. Мы прокатились в такси с дочкой Пата Брейди.

Стар вызвал звонком стюардессу.

– Пилот не будет против, – спросил он, – если я посижу с ним у штурвала?

– Правила не разрешают, мистер Смит.

– Попросите его, пусть на минуту зайдет сюда, когда освободится.

Стар просидел рядом с пилотом всю вторую половину дня. Одолев нескончаемую пустыню, самолет плавно шел над плоскогорьями, окрашенными многоцветно, – так мы, бывало, в детстве расцвечивали белый песок. Ближе к вечеру под нашими пропеллерами скользнули знакомые пики гор Фрозен-Со – мы приближались к дому.

Я дремала, а в промежутках думала о том, что хочу за Стара замуж, хочу влюбить его в себя. Ох, воображала желторотая! Ну что б я могла ему дать? Но об этом я тогда не думала. Мной владело молодое женское тщеславие, черпающее силу из возвышенных соображений типа «Я не хуже, чем она». Для семейного употребления красота моя была ничем не хуже красоты кинобогинь, которые, понятно, так и вешались ему на шею. А живая во мне струйка интеллектуальных интересов, уж конечно, делала меня дорогим украшением светских и артистических салонов.

Теперь-то мне понятно, что это был бред. Хотя взамен колледжа у Стара за плечами были всего-навсего вечерние курсы стенографов, он давно уже пробился сквозь умственное бездорожье и чащобу на просторы, куда мало кто мог прорваться за ним. Но я тщеславно и дерзко считала, что мои серые глаза полукавей его темно-карих, что сердце Стара, тормозимое уже годами перегрузок, не устоит перед моим, упругим от гольфа и тенниса. И я строила планы, вынашивала замыслы, интриговала – об этом любая женщина может

порассказать, – но не добилась ровно ничего. Мне и теперь хочется верить, что, будь он небогат и ближе ко мне возрастом, я бы достигла цели, – но правда вся, конечно, в том, что мне нечего было предложить ему нового духовно. То, что во мне от романтики, в основном навеяно фильмами – «42-я улица», к примеру, сильно повлияла на меня. Очень, очень вероятно, что сформировалась я именно на фильмах, из числа созданных Старом.

Так что дело было безнадежное. Ведь пережеванное невкусно – в области чувств это особенно верно.

Но тогда мне думалось иначе: может помочь отец, может помочь стюардесса. Вот войдет она в кабину экипажа, скажет Стару: «Какую любовь прочла я в глазах этой девушки».

Может пилот помочь: «Пора прозреть, приятель! Жми немедленно к ней!»

Может помочь Уайли Уайт – вместо того чтобы стоять в проходе и глядеть нерешительно, не зная, сплю я или нет.

– Садитесь, – сказала я. – Что нового? Где мы?

– Мы в воздухе.

– Неужели. Садитесь же. – Я изобразила живой и бодрый интерес: – Что вы пишете сейчас?

– Сценарий о бойскауте, о Великом Бойскауте. Бедная моя голова!

– Идея принадлежит Стару?

– Не знаю, но он мне предложил ее разработать. У него, возможно, еще десять сценаристов до или после меня усажены за ту же разработку – по системе, которую он столь мудро изобрел. Значит, влюбилась в него, Сесилия?

– Вот еще, – сердито фыркнула я. – В человека, которого знаю сто лет.

– Значит, по уши и безнадежно? Что ж, берусь устроить ваше счастье, если вы употребите все влияние, чтобы продвинуть меня. Мне нужна собственная творческая группа.

Я закрыла глаза и уплыла в сон. Проснулась – стюардесса укрывает меня пледом.

– Скоро будем на месте, – сказала она.

В иллюминатор видно в свете заката, что под нами пошла местность уже зеленей.

– Я слышала сейчас потешный разговор, – сообщила стюардесса. – В кабине у пилотов. Мистер Смит – или мистер Стар – ни разу не встречала в фильмах эту фамилию…

– Он никогда не ставит ее в титрах, – пояснила я.

– А-а. Ну, так он там все расспрашивал пилотов о летном деле. Он что, вправду этим интересуется?

– Да.

– То-то первый пилот готов был со мной спорить, что за десять минут выучит Стара вести самолет. Светлая голова, говорит.

– И что же тут потешного? – спросила я с некоторым раздражением.

– Ну, потом Стара спрашивают: «Мистер Смит, а ваше дело вам нравится?» А тот в ответ: «Еще бы. Безусловно, нравится. Приятно чувствовать, что пусть у всего экипажа мозги набекрень, но у тебя строго по гироскопу».

Стюардесса расхохоталась. (Тьфу, глупая.)

– Это он про голливудских – экипаж с мозгами набекрень. – Она неожиданно оборвала смех и, сдвинув брови, встала. – Пойду, надо графы заполнить.

– Всего хорошего.

Итак, Стар, вознеся пилотов к себе на престол, делился секретами управления. Спустя год или два я летела с одним из тех пилотов, и он припомнил, что говорил тогда Стар, глядя на горы.

– Допустим, вы путеец, железнодорожник, – говорил он. – Вам надо пробить трассу где-то здесь через горы. Топографы дают вам карты, и вы видите, что возможны четыре, пять, шесть вариантов, каждый не хуже другого. А вам надо решать – на основании чего же? Проверить выбор можно, только проложив трассу. И вы решительно ее прокладываете.

– То есть? – не понял пилот.

– То есть делаете выбор по чутью – потому лишь, что эта вот гора приглянулась своим розоватым оттенком или та вот схема дана отчетливей на синьке. Понимаете?

Пилот счел совет весьма ценным. Но усомнился, представится ли случай применить его.

– Я другое хотел узнать, – сказал мне пилот со вздохом. – Узнать, как это он сделался мистером Старом.

Вряд ли Стар ответил бы – зародыш памятью не обладает. Но я бы кое-что смогла объяснить. В юности он взлетел на крепких крыльях ввысь – и все царства мира обозрел глазами, способными не мигая глядеть на солнце. Неустанным, упорным, а под конец – яростным, усилием крыльев он продержался там долго – немногим удается это – и затем, запечатлев сущность вещей, как видится она с громадной высоты, спустился постепенно на землю.

Моторы стихли, и всеми своими пятью чувствами мы приготовились к посадке. Впереди и слева пунктирами огней обозначилась военно-морская база Лонг-Бич, справа замерцала, размыто засветлела Санта-Моника. Огромная и оранжевая, вставала калифорнийская луна над Тихим океаном. Что бы ни ощущала я в ту минуту – а, как-никак, это была встреча с родиной, – но убеждена и знаю, что ощущения Стара были намного сильней. Огни, луна и океан явились мне без поисков, сами собой, как овцы на студии старого Лемле; Стар же именно сюда

пожелал спуститься после того необычайного и озаряющего взлета, когда он сверху увидел, куда и как мы движемся и что в движении нашем красочно и важно. Могут возразить, что Стара занесло сюда случайным ветром, но я не верю. Мне хочется думать, что в этом взлете, в этом «дальнем общем плане» ему открылось новое мерило наших суматошных надежд и порывов, ловких плутней, нескладных печалей и что приземлился он здесь, чтобы уж до конца быть с нами, – по собственному выбору. Как этот самолет, идущий вниз на Глендейльский аэропорт, в теплую тьму.

Глава II

Был июльский вечер, десятый час, и когда я подъехала к студии, то в закусочной напротив увидела нескольких статистов, засидевшихся у китайских бильярдов. На углу стоял «бывший» Джонни Суонсон в своем полуковбойском наряде, угрюмо и невидяще глядя на луну. В немых ковбойских фильмах он когда-то славился наравне с Томом Миксом и Биллом Хартом, теперь же было грустно и заговорить с ним, и, поставив машину, я поскорей юркнула через улицу в главный вход.

Полностью студия не затихает и ночью. В лабораториях и в аппаратных звукового цеха работа идет сменами, и в любые часы суток техперсонал наведывается в студийное кафе. Но вечерние звуки с дневными не спутать – мягкий шорох шин, тихий гуд разгруженных моторов, нагой крик сопрано в микрофон звукозаписи. А за углом рабочий в резиновых сапогах мыл камерваген из шланга, и в чудесном белом свете вода опадала фонтаном среди мертвенных индустриальных теней. У административного здания в машину бережно усаживали мистера Маркуса, и я остановилась не доходя (устанешь ждать, пока он вымямлит тебе два слова – пусть даже просто «спокойной ночи»), прислушалась к сопрано, снова и снова повторявшему «Приди, люблю тебя лишь»; мне запомнилось, потому что певица повторяла все ту же строку и в момент землетрясения, которое грянуло минут через пять.

Кабинет отца находился в этом старом здании, где по фасаду тянутся балконы-лоджии, и непрерывные чугунные перила напоминают тугой трос канатоходца. Отец помещался на втором этаже, рядом с ним – Стар, а по другую руку – мистер Маркус. Сегодня весь этот ярус окон светился. Сердце слегка екнуло при мысли,

что Стар так близко, но я уже научилась держать в узде свое сердечко – за весь месяц, проведенный дома, я видела Стара лишь однажды.

Об отцовских апартаментах можно бы немало странного порассказать, но я коснусь кратко. Три бесстрастнолицые секретарши (я их с детства помню) сидели, как три ведьмы, в приемной – Берди Питерс, Мод (забыла, как дальше) и Розмэри Шмил; уж не знаю, благодаря ли имени или чему другому, но Розмэри была, так сказать, старшей ведьмой, у нее под столом находилась кнопка, отпирающая посетителю врата отцовского тронного зала. Все три секретарши были ярые поборницы капитализма, и Берди завела такой обычай: если замечено, что машинистки раза два на неделе обедали вместе, всей стайкой, то тут же вызывать их для строгого внушения. В то время на студиях боялись «народных волнений».

Я прошла в кабинет. Теперь-то у всех киноворотил громадные кабинеты, но ввел это отец. И он же первый снабдил непрозрачными снаружи стеклами большие, доходящие до пола, окна; слышала я также про потайной люк в полу, про каменный мешок внизу, куда будто бы проваливаются неприятные посетители, – но это, по-моему, выдумки. На видном месте у отца висел масляный портрет Уилла Роджерса – для того, наверно, чтобы внушать мысль о близком духовном родстве отца с этим «голливудским св. Франциском». Висели также надписанная фотография Минны Дэвис, умершей три года назад жены Стара, снимки других знаменитостей нашей студии, пастельные портреты мой и мамин. В этот вечер окна были раскрыты, в одном окне беспомощно застряла крупная, розово-золотая, окруженная дымкой луна. В глубине комнаты, за большим круглым столом, сидели отец, Жак Ла Борвиц и Розмэри Шмил.

Как выглядел отец? Я не смогла бы сказать, если бы не тот раз в Нью-Йорке, когда я неожиданно увидела перед собой немолодого грузного мужчину, как бы слегка стыдящегося собственной персоны, и подумала: «Да проходи ты, не задерживайся», – и вдруг узнала отца. Меня огорошило это мое впечатление: ведь отец умел быть обаятельно-внушительным, у него была ирландская улыбка и волевой подбородок.

Что же до Жака Ла Борвица, то его я не стану описывать – избавлю вас. Скажу лишь, что он был помощник продюсера – нечто вроде надсмотрщика над съемочными группами. Где это Стар откапывал такие умственные трупы (или ему их навязывали?) и, главное, как он ухитрялся получать от них пользу, – всегда меня озадачивало и поражало, да и каждого новоприбывшего с Востока

поражало, кто на них наталкивался. У Жака Ла Борвица, несомненно, были свои достоинства, но есть они и у мельчайших одноклеточных, и у любого пса, рыщущего в поисках суки и мосла. Жак Ла… – о мой бог!

По выражению лиц я тут же поняла, что темой их совещания был Стар. Что-то Стар велел или запретил, пошел наперекор отцу, забраковал какую-то из картин Ла Борвица или еще что-либо учинил в том же разгромном духе, – и вот они собрались здесь вечерним синклитом, уныло возмущенным и беспомощным. И у Розмэри наготове блокнот, чтобы запротоколировать их бессилие.

– Я приехала схватить и доставить тебя домой живого или мертвого, – сказала я отцу. – Твой день рождения, а все подарки так и лежат неразвернутые!

– Ваш день рождения! – встрепенулся виновато Жак. – Сколько же вам исполнилось? Я и не знал.

– Сорок три, – четко произнес отец, убавив себе четыре года, и Жак знал это; я видела, как он пометил «43?» в своем гроссбухе, чтобы использовать в надлежащее время. Здесь у нас эти гроссбухи носят открыто и раскрыто, и не нужно прибегать к чтению с губ – видно и так, что в них записывают. Розмэри тоже пришлось сделать пометку у себя в блокноте, чтобы не ударить лицом в грязь. И только она эту пометку стерла, как земля под нами содрогнулась.

Толчок был слабее, чем в Лонг-Бич, где верхние этажи магазинов вытряхнуло на улицу, а отели, из тех, что поменьше, съехали с берега в море, – но целую минуту нутро наше трепыхалось в унисон с нутром земным – точно совершалась бредовая попытка, срастив пуповину, втянуть нас обратно в утробу мироздания.

Мамин портрет упал, оголив небольшой стенной сейф; мы с Розмэри, отчаянно ухватясь друг за друга, завальсировали по комнате под собственный визг. Жак упал в обморок – по крайней мере, сгинул куда-то с глаз, а отец уцепился за стол с криком: «Ты цела?» За окном певица добралась до заключительных верхов и, протянув «тебя-а лишь», запела опять сначала, – честное слово. Но, может быть, это ей проигрывали запись.

Комната остановилась, слегка лишь подрагивая танцевально. Мы, в том числе и неожиданно возникший снова Жак, вышли, пьяно пошатываясь, через приемную на чугунный балкон. Почти все огни погасли, тут и там слышались голоса, крики.

Мы постояли, ожидая нового толчка, затем, точно по команде, двинулись в приемную Стара и дальше, в его кабинет.

Кабинет этот был тоже велик, но поменьше отцовского. Стар сидел с краю кушетки, протирая глаза. В момент толчка он спал – и теперь недоумевал, не приснилось ли все ему. Мы заверили его, что не приснилось, и происшествие показалось ему скорей забавным, но тут зазвонили телефоны. Я наблюдала за ним как можно незаметнее. Вначале он был серый от усталости, но, по мере того как поступали донесения, в глаза его стал возвращаться блеск.

– Лопнуло несколько магистральных труб, – сказал он отцу, – вода заливает съемочную территорию.

– Там Грей ведет съемку во «Французском селении», – сказал отец.

– Вокруг «Вокзала» тоже затопило и залило «Джунгли» и «Нью-Йоркский перекресток». Но хорошо хоть, черт возьми, что обошлось без жертв. – Стар взял меня за обе руки, сказал очень серьезно: – Где вы пропадали, Сеси?

– Ты сейчас туда, Монро? – спросил отец.

– Вот только дождусь известий со всех участков. Одна электролиния тоже вышла из строя. Я послал за Робинсоном.

Стар усадил меня рядом с собой на кушетку, снова выслушал рассказ о землетрясении.

– У вас усталый вид, – сказала я так мило, по-матерински.

– Да, – согласился он. – Некуда приткнуться вечерами, вот я и остаюсь работать.

– Я подумаю, чем расцветить вам вечерок-другой.

– Бывало, я с друзьями играл в покер, пока не женился, – сказал он задумчиво. – Но мои партнеры все спились, поумирали.

Вошла мисс Дулан, его секретарша, со свежей порцией бедственных вестей.

– Робби придет и все наладит, – успокоил Стар отца. – Робинсон – вот это парень, – повернулся Стар ко мне. – Он работал раньше аварийным монтером в Миннесоте, устранял обрывы телефонных линий в снежные бураны – он ни перед чем не спасует. Он через минуту явится. Робби вам придется по душе.

Он сказал это так, словно всю жизнь мечтал свести нас вместе и с этой целью даже землетрясение устроил.

– Да, Робби вам придется по душе, – повторил он. – Вы когда возвращаетесь в колледж?

– Каникулы недавно начались.

– И вы к нам на все лето?

– Что ж, это поправимо, – сказала я. – Постараюсь поскорей уехать.

Я была как в тумане. В голове мелькнуло, что Стар недаром спрашивает, что у него насчет меня намерения, но если так, то роман наш еще на невыносимо ранней стадии – я для Стара пока всего лишь «ценный реквизит». И не таким уж все это показалось сейчас заманчивым – точно перспектива выйти замуж за вечно занятого врача. Стар редко покидал студию раньше одиннадцати вечера.

– Сколько Сесилии осталось учиться? – спросил Стар отца. – Вот я о чем, собственно.

Тут я, наверно, с жаром бы воскликнула, что мне необязательно и возвращаться в колледж, что образования у меня уже в избытке, – но вошел достойный всяческого восхищения Робинсон. Он оказался рыжим, молодым, кривоногим и рвущимся в бой.

– Знакомьтесь, Сесилия, – Робби, – сказал Стар. – А теперь идем, Робби.

Так познакомилась я с Робби – и не ощутила в этом ничего знаменательного. А зря: ведь именно Робби рассказал мне потом, как Стар обрел в ту ночь свою любовь.

В лунном свете тридцать акров съемочного городка простирались волшебной страной – не потому, что съемочные площадки так уж впрямь казались африканскими джунглями, французскими замками, шхунами на якоре, ночным Бродвеем, а потому, что они были словно картинки из растрепанных книг детства, обрывки сказок, пляшущие в пламени лунного костра. Я никогда не жила в доме с традиционным чердаком, но, по-моему, съемочная территория напоминает именно захламленный чердак, и ночами хлам колдовски преображается и оживает.

Когда Стар с Робби пришли туда, пучки прожекторных лучей уже осветили аварийные места среди разлива.

– Мы эти озера перекачаем в топь на «Тридцать шестой улице», – сказал Робби, подумав с минуту. – Настоящее стихийное бедствие, осуществленное силами городского водопровода. А гляньте вон туда!

Вниз по течению импровизированной реки двигалась огромная голова бога Шивы – и несла у себя на темени двух женщин. Статую смыло с «Бирманской» площадки, она вместе с прочими обломками плыла, прилежно следуя изгибам русла, покачиваясь, тычась – преодолевая мели. Спасавшиеся на ней женщины сидели, упершись ногами в завиток волос на голом лбу, и, казалось, любовались картиной наводнения, как с крыши экскурсионного автобуса.

– Погляди, Монро, на этих дамочек, – сказал Робби. – Занятное зрелище.

Увязая в новоявленных болотцах, Робинсон и Стар подошли к берегу потока. Отсюда женщины были хорошо видны; слегка испуганные, они повеселели при виде идущих на выручку людей.

– Пусть бы так и уплыли в сточную трубу, – сказал Робби, как истый рыцарь, – да только голова эта на будущей неделе понадобится Де Миллю.

Но Робби не был способен обидеть и муху – он тут же вошел в воду чуть не по пояс, цепляя голову багром, но голова увертывалась и вертелась. Подоспела подмога; вокруг заговорили, что одна из женщин очень красива, затем распространилось, что обе они – важные особы. Но они были простые проникшие на студию смертные, и Робби брезгливо ждал, пока они причалят, чтобы задать

им перцу. Наконец статую обуздали, притянули к берегу.

– Верните голову на место! – крикнул Робби женщинам. – Это вам что, сувенир?

Одна из женщин плавно съехала вниз по щеке идола, и Робби поймал ее, поставил на сушу; вторая, поколебавшись, соскользнула тоже. Робби повернулся к Стару:

– Что велишь с ними сделать, шеф?

Стар не отвечал. С расстояния двух шагов на него, слабо улыбаясь, смотрело лицо умершей жены – и хоть бы в выражении была разница! Сквозь лунный промежуток в два шага глаза глядели знакомо, от ветра шевелился локон на родном лбу; она все улыбается – теперь слегка иначе, но тоже знакомо; губы приоткрылись, как у Минны. Страх, трепет пронизал Стара, он чуть не вскрикнул. Затхлый и тихий похоронный зал, лимузин-катафалк, приглушенно скользящий, роняющий цветы с гроба, – и оттуда, из мрака, снова явилась, теплая, светлая! Мимо неслась вода, мощные кинопрожекторы полосовали мглу, мигая, и вот зазвучал голос – иной, не голос Минны.

– Мы просим извинить нас, – сказал голос. – Мы прошли в ворота зайцами, следом за грузовиком…

Вокруг начинали уже толпиться – осветители, подсобные рабочие, и Робби тут же принялся за них, как овчарка за овец.

– Тащите большие насосы с водоемов, с четвертой площадки… застропите голову канатом… сплавьте ее обратно на досках… сперва, ради господа бога, выкачайте воду из джунглей… трубу кладите здесь, изогнутую эту… да полегче, тут все из пластмассы…

Стар глядел, как обе женщины пробирались к выходу за полисменом. Затем сделал шаг, проверяя, ушла ли из колен слабость. Прочавкал с рокотом тягач по грязи, и мимо Стара потекли вереницей люди; каждый второй взглядывал на него, улыбался, говорил: «Привет, Монро… Здравствуйте, мистер Стар… мокрая выдалась ночка, мистер Стар… Монро… Монро… Стар… Стар… Стар».

Он откликался, взмахивал рукой в ответ им, проходящим в сумраке, и это, я думаю, слегка напоминало встречу Императора со Старой Гвардией. У всякого мирка непременно свои герои, и Стар был герой киномира. Эти люди в большинстве своем работали здесь от начала, испытали великую встряску – приход эры звука – и три года кризиса, и Стар оберегал их от беды. Узы верности рвались теперь повсюду, у колоссов обнаруживались и крошились глиняные ноги; но Стар по-прежнему был их вожак, последний в своем роде. И они шли мимо, приветствуя его – как бы воздавая негромкую почесть.

Глава III

За время между вечером прилета и землетрясением я на многое взглянула по-другому.

Взять, к примеру, отца. Я отца любила (это можно бы изобразить капризной кривой со многими резкими спадами), но я начала уже понимать, что сила воли – еще не замена всех качеств, делающих человека человеком. Таланты отца сводились в основном к практической сметке. Благодаря ей и своему везению он заполучил четвертую часть доходов в процветающем и шумном бизнесе – и стал компаньоном молодого Стара. В этом заключился подвиг его жизни, а дальше уж простой инстинкт не давал сорваться. Конечно, в деловых беседах на Уолл-стрит отец умел напускать туману насчет загадок фильмопроизводства, но сам не смыслил ни аза в монтаже, а тем более в перезаписи. Да и проникнуться с юности духом Америки трудно, служа подавальщиком в баре ирландского городка Баллихигана, а чувство сюжета было у отца не тоньше, чем у коммивояжера-анекдотчика. С другой стороны, он не был тайным полупаралитиком, как ***; отец являлся в студию не с обеда, а с утра, притом подозрительность он нарастил в себе, как мышцу, и перехитрить его было нелегко.

Ему повезло на Стара – крупно повезло. В киноделе Стар был путеводным маяком, подобно Эдисону и Люмьеру, Гриффиту и Чаплину. Он поднял фильмы высоко над уровнем и возможностями театра, вознес как бы на высоты золотого века (все это до введения цензуры).

О роли Стара свидетельствовало то, какой вокруг него шел шпионаж – не простая охота за внутренней информацией, за секретами технологии, а шпионаж, объектом которого было чутье Стара на перемены в зрительских вкусах, его предвидение будущего. Слишком много жизненной энергии доводилось Стару тратить на борьбу с этим шпионажем. Приходилось то и дело лавировать, замедлять темп, секретничать, – и поэтому работу Стара так же трудно описывать, как трудно вникнуть в планы полководца, психологическая сторона которых от тебя почти вся скрыта, и кончаешь простым суммированием успехов и неудач. Но я решила дать хоть беглый очерк его рабочего дня, и цель идущих ниже страниц именно в этом. Частью я взяла их из написанного в колледже сочинения «День продюсера». Большинство событий будничных я вмонтировала с помощью воображения, но всё из разряда необычного – так и было.

Наутро после потопа, на рассвете, в административное здание вошел человек. Появившись на балконе, он, по словам очевидца, постоял там, затем влез на чугунные перила и бросился головой вниз на мостовую. В итоге – сломанная рука.

Мисс Дулан, секретарша Стара, сообщила ему о случившемся, когда в девять он нажал кнопку звонка. Он спал в кабинете и проспал весь этот небольшой переполох.

– Пит Заврас? – воскликнул Стар. – Оператор?

– Его доставили к дежурному врачу. В газету это не попадет.

– Ах ты несчастье, – сказал Стар. – Я знал, что Заврас вышел в тираж, – но отчего он сник, неясно. Два года назад он снимал у нас и выглядел молодцом. Зачем же он пришел сюда кончать с собой? Как он пробрался на студию?

– Обморочил охрану с помощью старого пропуска, – пояснила Кэтрин Дулан в своей ястребино-сухой манере. Муж ее был ассистентом режиссера. – Возможно, на него как-то повлияло землетрясение.

– Он был лучший оператор Голливуда, – сказал Стар. И, даже услышав затем про сотни жертв в Лонг-Бич, Стар все не мог выбросить Завраса из мыслей – и велел

секретарше выяснить причину попытки самоубийства.

Первые новости дня поступали по диктографу, вплывали в теплынь утра. Стар брился, пил кофе, слушая и делая распоряжения. Робби оставил записку: «Если потребуюсь Стару, передайте – к черту, я спать пошел». Ведущий актер заболел или захандрил; губернатор Калифорнии прибывает на студию с целой свитой гостей; помощник продюсера избил жену за испорченную фильмокопию и должен быть «разжалован в сценаристы» (разбирательство и прием губернатора входят в компетенцию отца, и актер тоже – если только не законтрактован лично Старом). В Канаде ранний снег покрыл место натурных съемок, а рабочая группа уже прибыла туда; Стар быстро просмотрел фабулу картины, прикинул, нельзя ли примениться к снегу. Нет, нельзя. Стар звонком призвал секретаршу в кабинет.

– Свяжите меня с полисменом, который удалил вчера вечером двух женщин со съемочной территории. Его зовут, кажется, Малон.

– Хорошо, мистер Стар. У телефона Джо Уаймен – относительно брюк.

– Привет, Джо, – сказал Стар в трубку. – Послушай-ка, на предварительном просмотре двое зрителей пожаловались, что у Моргана ширинка расстегнута целых полфильма… Конечно, они преувеличивают, но даже если на протяжении всего десяти футов… Нет, этих зрителей не сыщешь теперь, но вам придется снова и снова прокручивать фильм, пока не засечете этот кусок. Посадите в просмотровом побольше народа – кто-нибудь да заметит.

(Вот уж действительно:

Tout passe. – L’art robuste

Seul a l’eternite[1 - Все тленно. Лишь искусствоМогучее – навек (фр.).].)

– И сейчас придет этот принц из Дании, – сказала Кэтрин Дулан. – Он очень красивый. Хотя высоковат, – прибавила она почему-то.

– Благодарю, Катрин, – сказал Стар. – Спасибо. Тронут вашим намеком на то, что среди невысоких у нас самый красивый теперь – я. Пусть высокого гостя поводят по съемкам, и скажите ему, что в час мы с ним завтракаем.

– И в приемной ждет мистер Джордж Боксли – вид у него отменно, по-английски, злой.

– Что ж, уделим ему десять минут.

Когда она уже выходила, Стар спросил:

– От Робби не было звонка?

– Нет.

– Позвоните звуковикам, и если они могут с ним связаться, то спросите вот что. Спросите у Робби, не знает ли он, как зовут тех вчерашних ночных посетительниц. Хотя бы одну из них. А если не фамилию, то пусть даст любую деталь, примету, по которой можно бы их разыскать.

– Что еще узнать у него?

– Больше ничего. Но скажите ему, это важно – пока у него в памяти свежо. Кто они такие? Да-да, спросите его, кто они, что они. То есть…

Она ждала, опустив глаза в блокнот и быстро записывая.

– …то есть они, возможно… сомнительной репутации? Не актрисы ли? А впрочем, это все отставить. Пусть только подскажет, как их найти.

Полисмен Малон смог сообщить немного. Две дамочки, и он их быстро выставил со студии, будьте спокойны. Причем одна сердилась. – Которая? – Да одна из тех двух. У них машина стояла, «шевролетка». Хотел даже номер записать. – Сердилась та, что покрасивей? – Вот уж не приметил.

Ничего Малон не приметил и не заметил. Даже на студии уже успели забыть Минну. За каких-нибудь три года. Что ж, по линии полисмена – все.

Мистера Джорджа Боксли Стар встретил отечески доброй улыбкой. Она выработалась у Стара из улыбки, так сказать, сыновней, когда Стар еще юнцом

был взброшен на высокий пост. Первоначально то была улыбка уважения к старшим; затем вершить дела на студии стал все больше он и все меньше они, старшие, и улыбка стала смягчать этот сдвиг и, наконец, раскрылась в улыбку доброты сердечной – иногда чуть торопливую, усталую, но неизменно адресованную всякому, кто в течение данного часа не навлек на себя гнев Стара. Всякому, кого Стар не намеревался резко и прямо оскорбить.

Мистер Боксли не улыбнулся в ответ. Он вошел так, словно его втащили силой, хотя втаскивавших и не видно было. У кресла он остановился, но опять-таки точно не сам сел, а был схвачен за локти двумя невидимыми конвоирами и усажен. Он молчал насупленно. Закурил предложенную Старом сигарету, но и тут казалось, будто спичку поднесли некие внешние силы, которым он брезгливо повинуется.

Стар смотрел на него с учтивостью.

– В чем-то неполадки, мистер Боксли?

Романист молча поднял на Стара глаза, темные, как грозовая туча.

– Ваше письмо я прочел, – сказал Стар, отбросив любезный тон, каким молодой директор школы обращается к ученику, и заговорив «на равных» – с оттенком почтения, но и с достоинством.

– Я не могу добиться, чтобы сценарий писался по-моему, – взорвался Боксли. – У вас у всех отношение ко мне очень милое, но это прямо какой-то заговор. Вы мне дали в сотрудники двух поденщиков, которые меня выслушивают, а затем все портят – по-видимому, лексикон их не превышает сотни слов.

– А вы бы сами писали текст, – сказал Стар.

– Я и писал. Я послал вам фрагмент.

– Но там были одни разговоры, перебрасывание словами, – мягко сказал Стар. – Интересные, но только разговоры.

Лишь с величайшим трудом удалось двум призрачным конвоирам удержать Боксли в кресле. Он порывался встать; он издал негромкий, лающий какой-то звук – если смех, то отнюдь не веселый.

– У вас тут, видимо, не принято читать сценарии. В моем фрагменте эти разговоры происходят во время поединка. Под конец один из дуэлянтов падает в колодец, и его вытаскивают в бадье. – Боксли опять пролаял-засмеялся и смолк.

– А в свой роман вы бы вставили это, мистер Боксли?

– Что? Нет, разумеется.

– Сочли бы это дешевкой?

– В кинематографии стандарты другие, – сказал Боксли уклончиво.

– А вы ходите в кино?

– Нет, почти не хожу.

– Не потому ли, что там вечно дерутся на дуэлях и падают в колодцы?

– Да, и к тому же у актеров неестественно напряженные лица, гримасы, а диалог искусствен и неправдоподобен.

– Отставим на минуту диалог, – сказал Стар. – Согласен, что у вас он изящнее, чем у этих поденщиков, – потому мы и пригласили вас. Но давайте вообразим что-нибудь не относящееся ни к плохому диалогу, ни к прыжкам в колодцы. Есть у вас в рабочей комнате газовая печка?

– Есть, по-моему, – сказал Боксли сухо, – но я ею не пользуюсь.

– Допустим, вы сидите у себя, – продолжал Стар. – Весь день вы дрались на дуэлях или же писали текст и теперь устали драться и писать. Просто сидите и смотрите тупо – мы все, бывает, выдыхаемся. В комнату входит миловидная стенографистка – вы ее уже раньше встречали и вяло смотрите теперь на нее. Вас она не видит, хотя вы рядом. Она снимает перчатки, открывает сумочку,

вытряхивает из нее на стол…

Он встал, бросил на письменный стол перед собой кольцо с ключами.

– Вытряхивает две десятицентовые монеты и пятак – и картонный спичечный коробок. Пятак она оставляет на столе, десятицентовики кладет обратно в сумочку, а черные свои перчатки несет к печке, открывает дверцу и сует внутрь. Присев на корточки, достает из коробка единственную спичку. Вы замечаете, что в окно потянуло сквозняком, – но в это время зазвонил ваш телефон. Девушка берет трубку, отзывается, слушает – и произносит с расстановкой: «Я в жизни не имела черных перчаток». Кладет трубку, приседает опять у печки, зажигает спичку – и тут вы вдруг быстро оглядываетесь и видите, что в комнате присутствует еще и третий, следящий за каждым движением девушки…

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Все тленно. Лишь искусство

Могучее – навек (фр.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/frensis-ficdzherald/posledniy-magnat-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить